



Мария Метлицкая

Вечный
запах флоксов



Москва

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Метлицкая, Мария.

М54 Вечный запах флоксов : сборник /
Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо,
2026. — 384 с.

ISBN 978-5-04-242603-2

Что такое счастье? Лишь немногим дано понять, что его надо не ждать, а искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны. Это и есть счастье.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2026
© Оформление.
ISBN 978-5-04-242603-2 ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Соленое Черное море

Мария смотрела на дочь, едва скрывая презрение и брезгливость. От этого ей было даже слегка неловко, но... Ничего поделать с собой она не могла. Бестолковая дочь вызывала именно такие чувства. А еще — жалость и разочарование.

Люська же сидела у окна замерев, почти не дыша, вытянув тонкую белую шею. Пожалуй, не было такой силы на свете, которая оторвала бы ее от этого занятия. Впрочем, это было не то чтобы занятие — это был смысл Люськиного существования. Подждать этого.

Днями, ночами — как уж сложится. А складывалось по-разному. Этот — а иначе Мария его не называла — мог явиться и поздно вечером, и далеко за полночь. А мог и «утречком», как говорил он сам. То есть часов в семь, особенно по выходным, когда все приличные трудящиеся люди имеют право на заслуженный сон. Загадывать было сложно.

Этот — по паспорту Анатолий Васильевич Ружкин — был хозяином своей жизни. Да ладно бы своей... Он был хозяином и ее жизни, Люськиной, — жалкой, животной, убогой, — вот в чем беда!

Люська жила от прихода до прихода Анатолия Ружкина. А в промежутках как будто спала. Вот и сейчас, услышав стук подъездной двери, чуть привстала, вся подалась вперед, на шее набухли голубые вены, белую кожу залила яркая краска и... Она застыла.

В дверь никто не позвонил. Люська снова опустилась на табуретку, и алая краска моментально сошла с ее острого, худого, измученного лица. Теперь она была мертвенно-бледной — побелели и сжались в полоску даже тонкие Люськины губы.

Мария встала со стула, громко крикнула и шарахнула чашкой об стол.

Люська вздрогнула, глянула на мать и тут же отвела отсутствующий, почти неживой взгляд.

Мария тяжело подошла к окну и задернула занавески. Люська метнулась и занавески отдернула.

Мария встала над дочерью, уперев руки в бока, крупная, почти огромная, — она возвышалась над тощенькой, хилой Люськой, и ее взгляд не обещал ничего хорошего.

Тихо, почти умоляюще дочь произнесла:

— Мама! Пожалуйста, не надо!

Мария громко вздохнула, со стуком передвинула стул и, болезненно скривившись, махнула рукой.

— Ну валяй, бестолковая! Ты ж у нас на по-мойке найдена!

Люська тоненько завывала, и Мария, тяжело перебирая полными больными ногами, вышла из кухни прочь.

Ничего не поделаешь, только последнего здоровья лишишься. Слабая эта дурочка — ни характера, ни гордости, ничего от Марии. Ветром сдувает — сорок три кило удельного весу. А ведь уперлась!

И кто бы подумать мог! Вот чудеса. Не прошибешь и не сдвинешь. Вот она, кровь Харитиди!

Только бы не для этого случая... Вот в чем беда.

Мария вошла в комнатку и тяжело опустилась на стул. Ходить тяжело, дышать тяжело, жить тяжело. Все тяжело. Такая тоска на сердце... Хоть волком вой. И такая тоска от бессилья — ничего не может исправить, ни на что повлиять. Всю жизнь все могла, а тут... Словно лишили ее, Марию, ее магической силы. Со всеми бедами справлялась, как бы ни было тяжело. А Пигалица эта, сопля килограммовая. Всю жизнь — мамочка, как скажешь, мамочка, как ты хочешь!

А тут рогом уперлась, и хоть бы что. Ни страдания материны, ни сплетни, ни пересуды по городку — ничего не берет эту дуру. Как опоили!

Мария ходила к гадалке — живет такая ведьмака в соседнем поселке. Чистая баба-яга. Злая, резкая, зыркнет — сердце падает в пятки. Марию так просто не купишь — взгляд ведьмакин вынесла, не моргнула. Не на ту напали! Ведьма это почувствовала и даже предложила чаю. Мария отказалась — чай пьют с друзьями и с соседями, а я тебе, старая, деньги принесла. Да и не до чаев мне, беда у меня большая.

Ведьма прищурилась и рассмеялась неожиданно молодым и звонким смехом.

— Вот это беда? Глупая ты! — А потом грустно добавила: — С таким тут приходят, а ты....

Как укорила — время вроде бесценное отнимаешь.

Не понять ей — бездетная. Не понять, что, когда твое дитя пропадает — для матери это горе! И неважно, от чего пропадает это самое дитя!

Но — деньги-то плачены! — карты раскинула, кофе черный заварила, выпить заставила. Долго изучала дно чашки, а потом, вздохнув, объявила:

— Никакого приворота тут нет. Да и кто его сделает, если не я? А ко мне «по данному вопросу никто не заявлялся». А что «присушил» — так это бывает! — она хитро прищурилась. И снова подробно и звонко расхохоталась: — А у тебя что, такого не было?

Мария устало махнула рукой.

— Да при чем тут я? Не обо мне речь! Моя жизнь прошла! А тут — дитя! Единственное! Рожденное поздно, я уже и не ждала! Нет больше горя для матери, чем вид горемыки-ребенка!

Ведьма посерьезнела и строго спросила:

— Горемыка, ты говоришь? А вот это, милая, не тебе решать!

Разозленная Мария, не попрощавшись, пошла к двери.

Гадалка крикнула вслед:

— Деньги свои забери! Не было у меня с тобой работы!

Мария, не обернувшись, махнула рукой.

— Да подавись ты! Будешь еще мне указывать!

— Советовать! — поправила ведьма. — Не лезь в это дело. Ничего у тебя не выйдет, — тихо добавила она. И твердо повторила: — Ничего! «Любовь» это все называется. Поняла?

Мария вышла во двор. «Ну а вот это мы еще посмотрим! Видели мы таких. Умных и прозорливых».

Только громко хлопнув калиткой и спустившись по улице вниз, она остановилась отдыхать. Чертов вес, чертово наследство. Чертовы гены.

Чертова жизнь! Мать рождает дитя на счастье! А видеть, как гибнет ребенок...

Нету чернее горя. Нет.

Если подумать, вся жизнь Марии была сплошным испытанием. С самого детства.

Мать ее, красавица Татьяна, утонула, когда девочке исполнился год. Родилась на море, прожила всю свою короткую жизнь на море и — утонула. Местные тонули нечасто — только если по пьяни. А молодая женщина была трезва как стекло. Говорили, мол, сердце больное. Какое больное в восемнадцать лет? Отец, Харламий, обожавший жену, к дочке не подходил лет до трех, отдав ее на воспитание своей старшей сестре, Марииной тетке Христине.

Тетка была задерганной, нервной — своих трое по лавкам, а тут еще и чужая девочка. Ну, не совсем чужая... Только Таньку, свою невестку, она не любила. Считала, что околдовала брата, белобрысая стерва. Вот ее бог и наказал. Грешно так говорить, а ведь правда!

И невесту уже брату сосватали — из Краснодара привезли. Хорошая семья, не нищие, да и невеста с лица приятная. Из своих, из греков. А тут она, соседushка, подвернулась. Весь поселок за ней табуном — как с ума посходили. И братец первый. Высох весь, почернел. Потом поженились — не свадьба была, а поминки. Все Харитиди рыдали. Любимый сын, гордость родителей, а тут такое!

Шалава безродная. Нищая. Правда, красавица — ничего не скажешь. Волосы спину закрывают, глаза голубые. Тощая, однако. Какая из нее работница? Смешно. А уж про семью и говорить нечего — папаши нет как не было, а мать, Зойка, на приеме стеклотары — с утра глаза зальет, и анекдоты с матюками на всю улицу. Хороша родня! Врагу не пожелаешь. Танька-то, правда, тихая была, не скандальная. И мамыши своей стеснялась.

Только все это утешение слабое. И простыня в крови после первой брачной ночи — как положено у честных людей — тоже.

Чужая. Чужее не бывает. Хлопотливые сестры Харитиди весь день у плиты, у корыта и при детях. А эта? Ни косые взгляды, ни замечания старших ее не беспокоят. Сядет под черешней на лавочке и — читать. Книжки замусоленные — из библиотеки. Про любовь, не иначе. А этот дурак с работы придет и поесть забывает — сядет возле нее и по ручке гладит.

А сестры и невестки судачат, перешептываются. А в душе завидуют! Никому из них не выпало такой любви и такого счастья. Ни одной! Вот и злобствуют — черные, как галки. Волосы жесткие, словно проволока. Носатые. И волосам ее шелковым завидуют — текут по спине как река, переливаются. А Харламий эти волосы гладит и рукой перебирает. Огромной своей черной ручищей, взглянешь — и то страшно.

Не приняла родня молодую жену Харлампия. Ни красавицу жену, ни веселуху тещу. А теща и вправду была развеселая. Особенно после стакана. Нет, горькой пьяницей Зойка-приемщица не была. А вот выпить любила. Пила сладкий портвейн «Южный», закусывая подгнившим персиком. Когда-то и Зойка считалась красавицей... Правда, до дочки ей было как до луны. От кого родила она Таньку, Зойка, похоже, и сама не помнила. А шлейф ее молодых загулов все тянулся и тянулся, падая черной тенью на репутацию дочери. Да и сейчас у Зойки было полно кавалеров. Правда, таких, что и говорить не стоит. Домишко Зойки стоял аккурат напротив огромного, крепкого дома Харитиди — одна улица, утопающая в зелени пирамидальных южных тополей, душистой акации и нагло выпирающих из-за заборов разлапистых георгинов и разноцветных душных флоксов.

Домик Зойке достался от родителей, сбежавших после войны из голодного Поволжья. Уже тогда, в далекие пятидесятые, домик был неказист и продуваем острыми и колючими зимними ветрами. Старик-отец, громко стучавший деревянным протезом по мостовой, хозяйство свое нехитрое еще как-то поддерживал, а как помер, так все и развалилось. Зойка в загулах, бабка, Зойкина мать, старуха.

Однажды Зойка исчезла — говорили, ушла с проходившим мимо цыганским табором.

Правды никто не знал, и спустя полгода Зойку «похоронили». А еще через пару недель «покойница» вернулась — пузатая — и в срок родила дочь. Вот только на цыганку белобрысая Танька была нисколько не похожа.

Растила Таньку полуслепая бабка. Да как растила — и смех и грех. Сидела девчонка в кустах и ковырялась в головке подсолнуха, вытаскивая сыроватые сладкие семечки. С детворой на улице не гоняла — выйдет за калитку, постоит молча и — обратно в дом.

Дразнить ее не дразнили — уже тогда, в детстве, Танькина красота ослепляла, а вот придурковатой считали.

В доме напротив, в большой, крепкой, как и сам дом, семье Харитиди чернявые и шумные, но дружные дочери и снохи убогих соседок жалели — когда полкурицы, только что зарезанной, еще истекающей теплой кровью, отнесут. Когда ведро помидоров — у «лентяек» даже это не растет. И это на жирной, словно маслом пропитанной, теплой южной земле! То подкинут яиц из-под пестрой несущки, а то угостят пахлавой, приторно-медовой сладостью, так любимой этим шумным и щедрым народом.

Зойка благодарила скупю: «А это еще зачем?»

Губы поджимала, но брала, чуть скривив в смущении и словно в презрении красивый, сочно покрашенный рот.

А бабка благодарила слезно и торопливо, мелко крестясь трясущейся и сморщенной рукой — хорошие люди, хоть и не наши. Христо-продавцы.

А двенадцатилетняя Танька на бабку цыкнула: — Наши! Потому что православные. — И с усмешкой добавила: — Что б ты понимала!

Бабка внучке не поверила, но в спор не вступила — только заворчала и махнула рукой.

Харламбий Харитиди влюбился в соседку лет в десять. Или по крайней мере стал на нее заглядываться. Это заметила мать — заметила и усмехнулась. Да гляди на здоровье! Хоть все глаза высмотри. Глядеть-то гляди, а из башки дурной выкини. Не нашего поля!

Так и сказала сыну спустя пару лет, когда шалый сын мотался под соседским забором и перекидывал туда записочки с камушком, перетянутые шпагатом и сорванные в родительском саду пышные и пахучие розы.

А уж когда он объявил о женитьбе... Вот тут разразился нешуточный и громкий скандал.

Кричали все — большая семья, южный крикливый народ. Грозилась выгнать из дому, грозилась отринуть от родни. Грозилась, грозилась... Потом уговаривали. Братья и шурья уселись на лавки широкими задками и достали породственному бутылочку. Хлопали «бестолочь» огромными ручищами по мускулистой спине — и снова уговаривали забыть эту «девку».

Случилась и драка — так, короткая и незлобная. И снова возникла бутылочка. Напоили Харлампия, а толку чуть — все равно мотал большой, кудрявой, черной упрямой башкой и повторял как заведенный: «Танька, Танька — и все. Не примете — уйду туда, к ней. Достанете — уедем совсем. Страна большая, нам места хватит».

Родня уложила пьяного олуха и дружно расселась за огромным обеденным столом на крытой летней кухне. Все вперемешку — родители, сестры, братья и прочая, уже давно «родная кровь». Посовещались — шумным шепотом, боясь разбудить «женишка», да где там! Спал счастливый и несчастный Харлампий крепким сном, из пушки не разбудишь.

Посовещались, переругались и постановили — жениться дурака «отпустить». Парень горячий — как бы чего не случилось! А эту моль белобрысую... Ну, потерпим. Куда деваться! Горе, конечно... Да что тут поделать. Нет сейчас у детей уважения — ни к родителям, ни к обычаям. Такие времена!

Зойка узнала о грядущем событии от присланных сватов — все честь по чести, надо же оставаться людьми! Сватов за стол усадила и налила чаю в разнокалиберные чашки. Сваты поморщились и достали шампанское и шоколад.

Зойка оживилась, махнула бокал и — принялась нахваливать свой «товар».

Сваты быстро свернулись, скупое и с явным недоверием ответив:

— Посмотрим!

Теперь счастливый Харламий прогуливал законную невесту по родной улице и набережной, где угощал любимую мороженым крем-брюле.

Сыграли свадьбу, и молодые зажили. В доме Харитиди им выделили большую светлую комнату окнами на юг. Харламий просыпался пораньше — рано и, подперев лобастую голову огромной ладонью, со счастливой улыбкой любовался спящей молодой женой. Танька морщилась от солнца, сводила тонкие светлые брови и зарывалась лицом в пышную пуховую подушку, одетую в крахмальную кружевную наволочку.

А он целовал ее в тонкое белое плечо и резко выскакивал из теплой постели, пахшей душистым, медовым телом жены.

Надо было торопиться на работу. Стройка начиналась с раннего утра — строили новый санаторий, очередную советскую здравницу.

На кухне терлись широкими задами женщины Харитиди — готовили мужьям и братьям сытные завтраки. Ставили и перед ним большую тарелку с дымящимся мясом, миску с помидорами и сдерживали тяжелые вздохи. Где это видано, чтобы жена не провожала мужа на работу? Не подавала полотенце у уличного домофона, не ставила перед ним тарелку с жарким, не наливала густой, почти черный от крепости чай?

Где это видано? Где видано, чтобы молодая спала и не шелохнулась? В каких приличных домах? Когда сноха вставала позже свекрови? Позор, одно слово! Снохи и золówki бросали друг на друга красноречивые взгляды, снова громко вздыхали и осторожно качали головами.

А счастливый муж жадно и торопливо проглатывал завтрак — жадно, потому что после ночи любви сильно проголодался. А торопливо, потому что надо было еще успеть заскочить в комнату и... Еще раз поцеловать молодую жену в теплое плечо. А если уж совсем повезет — то в чуть приоткрытые, горячие и такие сладкие губы.

Искус обрушиться рядом на белые простыни был так велик, что становилось страшно — вот опоздает он на работу, и точно — совсем засмеют!

И братья, и товарищи! Подденут: «Что, брат? Такая сахарная, что и не оторваться?»

Он, конечно, не ответит, пропустит мимо ушей, только сильнее сожмет упрямый рот.

Что они понимают? У них — все не так.

Потому что так, как у него, Харлампия... И вообще, у них с Танькой... Нет ни у кого на свете! Вот это — наверняка.

А Танька спала. И снились ей розовые облака и голубое — вот чудеса! — солнце. Проснувшись, она пугалась своих снов — ну у кого такое бывает? И поделиться страшно. Никто не поймет — даже муж.

Ее не заботили косые взгляды родни. Казалось, ее вообще ничего не заботило: хозяйничать ей было не нужно — полный двор опытных женщин, на работу ее не отпускал муж. Так, почитает, сбегает к матери — благо совсем близко, напротив. Посидит у себя в саду под черешней, поглядит в ясное небо. Послушает мать — да что там слушать! Стидилась она матери — ну, когда та под газом ходила. Стидилась ее громкого голоса, грубых ругательств, насмешек над новой родней.

— Не поддавайся, Танька! — смеялась она. — А то запрягут тебя, как вола ломового! Знаем мы этих!

Кого «этих», Танька не уточняла. К вечеру мать начинала нервничать и поглядывать за калитку. Было понятно, что ждет очередного хахаля.

Танька медленно поднималась и медленно шла к калитке. В новый дом идти не хотелось — в своем старом, маленьком и знакомом, было лучше — привычнее, уютнее, а главное — тише.

В мужнином доме не говорили — орали. Семья большая. Пока всех за стол соберешь — горло сорвешь, ей-богу. Детей полон двор, носятся весь день, старики сидят под тутовым деревом — там самая тень. Стариков было трое — бабушка Елена, сухонькая, седенькая, в глухом черном платье и косынке на голове. Ее сестра Кула — та еще древнее, лет сто, не меньше. Кула уже

не разговаривала — смотрела в одну точку и вытирала сухой ладонью постоянно набегающую слезу. И дед Павлос — муж этой самой Елены. Мать и отец Харитиди. Древние, как тутовое дерево, под которым они сидели. Собственно, он, Павлос, и застолбил в тридцатые годы эту землю на пригорке — тогда совсем сухую пустошь с одиноким кустом ореха у самой дороги. Привел туда молодую пузатую жену — рожать Елене было совсем скоро, — и заселились они в землянке. Там, в землянке, и родился их сын Анастас, брат Харлампия. А спустя год на земле уже стоял дом — в три комнаты, вытянутый и плоский, рассчитанный на большую семью. Детей Елена рожала дома, и Павлос, услышав протяжный и глухой стон жены, мигом бросался на соседнюю улицу — за повитухой.

Та, полная, даже раздутая какой-то сердечной болезнью, с трудом поспевала за беспокойным папашей.

— Успеем! Не кошка ж! — причитала повитуха, припадая на обе ноги.

Не кошка, а два раза не успели — одного Елена уже выдавила из своего обширного нутра, но подхватить успели. А вот девочку не спасли — лежала она у Елены в ногах, обернутая, словно спеленутая пуповиной, и всем было ясно, что дело тут — увы — уже непоправимое.

Пятерых родила Елена — могла бы и больше. Крепкая была баба, здоровая. С быком управля-

лась точно заправский мужик. А заболела совсем рано — едва перевалило за полтинник. Слабая стала — ни ножа в руке удержать, ни кастрюлю поднять, ни курицу ощипать. Болезнь была неизвестная и непонятная — врачи, по которым таскал жену Павлос, качали головами и говорили, что ослабела она от родов и тяжелой жизни. Павлос не верил — когда это женщины ослабевали от родов и домашней работы? И верить врачам перестал. Только молился, чтоб бог подержал на земле Елену подольше.

Хозяйкой в доме стала старшая дочь Христина.

Братья Харитиди — Анастас, Димитрос и Харлампий — были непьющие и работающие. Сестры, Христина и Лидия, сами искали братьям невест — серьезное дело привести в дом человека. Со всеми сладили, даже с капризным Дмитрием. А вот с Харлампием, дурачком, не смогли...

Танька приходила домой аккуратно к приходу мужа. Ждала не на кухне, где вечером собиралась семья. Ждала у себя в комнате.

Он вбегал в комнату запыхавшись.

— Гнались? — улыбалась счастливая Танька.

Харлампий мотал кудрявой башкой и махал рукой — какая разница!

И вправду, какая разница? Они так успевали соскучиться друг по другу, что неведомые силы подбрасывали, кидали в объятия, словно приклеивали друг к другу и... Они застывали.

Через час, надышавшись друг другом, они выходили к столу. Ужин уже подходил к концу, и проворные хозяйки спешно и ловко накрывали чай.

Глядя на молодых, кто-то усмехался, а кто-то недовольно хмурился.

А тем все нипочем! Тарелку с горячим супом ставила перед братом Христина, сестра. Чай наливала жена брата Агния.

Танька отламывала по кусочку хлеб и макала его в тарелку мужа. После чая, не принимая участия в шумных и бесконечных семейных разговорах, они молча вставали из-за стола, брали друг друга за руки и снова уходили к себе.

А на огромной, словно танцплощадка, летней веранде — три сдвинутых вместе стола, длинные лавки, две газовых плиты в ряд, два холодильника, не справляющиеся с жарой и оттого шумно фыркающие и трясущиеся, словно больной в лихорадке, — еще долго сидела семья, три поколения очень похожих друг на друга людей.

Чужих здесь не было — чужая женщина с белыми, летящими за тонкой спиной, легкими, словно ветер, волосами уже крепко спала в своей комнате, прижавшись острой и нежной скулой к могучему, темному от солнца и колючему от жестких, курчавых и густых волос плечу мужа.

На веранде народ постепенно рассасывался — сначала загоняли в дом ребятню. Потом под-

ростков. Дальше провожали стариков, нежно поддерживая их под острые локти.

Потом уходили мужчины — завтра снова рабочий день. А женщины, усталые, замученные, вытирали мокрой тряпкой липкие клеенки, заталкивали вечно не помещающиеся кастрюльки и плошки в холодильник, гоняли веником упавшие со стола крошки и корки и, широко зевая, не забывали в который раз упомянуть вредных соседок, взлетевшие на базаре цены и, разумеется, дурака братца с «этой его белобрысой нерадивой козой».

Поговорили, и ладно. Последняя щелкала выключателем и наконец, устало перебирая ногами, шла к себе. Услышав за дверью храп мужа, шептала: «Слава те, господи», — и тихонько, словно тень, просачивалась в комнату. Не дай бог разбудить — а то начнется! Харитиди — мужики крепкие, разбуди среди ночи — пожалуйста, никаких отговорок.

Знаем мы этих мужиков, им-то все нипочем! А сил-то совсем не осталось...

Дай бог доплестись до кровати...

Прошло два года, а Харламий с Танькой ничуть не остыли. Все было по-прежнему. По-прежнему Танька читала в саду свои затрепанные книжонки, по-прежнему не спешила помочь золовкам и невесткам, словом, по-прежнему плевала на всех. И всем надоело обсуждать эту тетеху — больная на голову, что говорить. А то,